

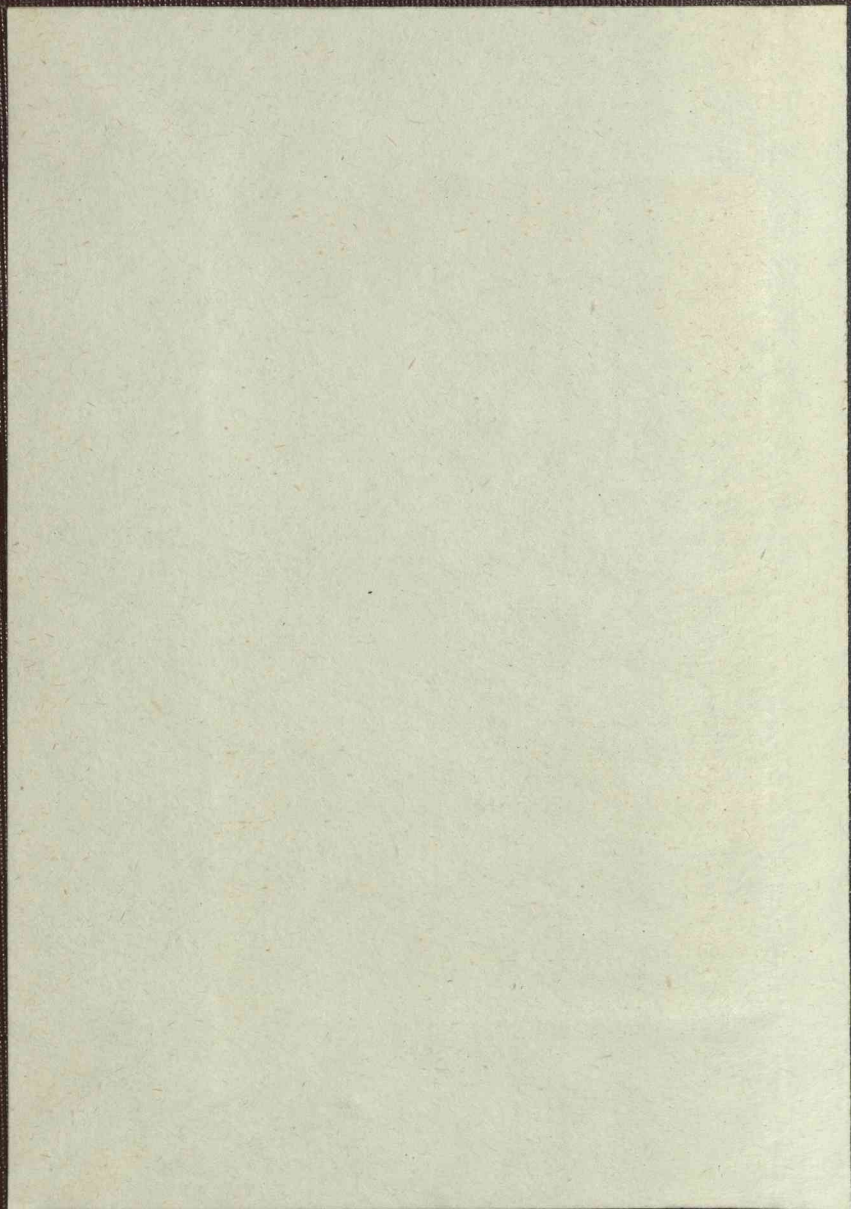
8Р₂(ВВ)

Р-64

5586

Розанов И.

Есенин о себе
и других.



кр. музей
92/47.38/

ИВАН РОЗАНОВ *8-88 р.*

3021
3778



ЕСЕНИН
О СЕБЕ И ДРУГИХ

**КООПЕРАТИВНОЕ И-во ПИСАТЕЛЕЙ
„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“**

МОСКВА—1926

182

2380 m

30921

ИВАН РОЗАНОВ

3586



52/47.3
8-821

ЕСЕНИН
О СЕБЕ И ДРУГИХ

3586

Handwritten signature or mark.

КООПЕРАТИВНОЕ И-ВО ПИСАТЕЛЕЙ
„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“
МОСКВА — 1926

Напечатано в типографии Госиздата
«Красный Пролетарий»: Москва,
Пименовская ул., д. № 16,
в количестве 5000 экз.,
Главлит № 55646.



I.

Когда умирает большой поэт, на знавших его лежит обязанность поделиться теми сведениями о нем, которые могут иметь историко-литературный интерес.

В 1920 и 1921 гг. я часто видался с Есениным. Я не был его близким приятелем. Сведения о себе сообщал он мне, как человеку, интересующемуся его поэзией, который когда-нибудь будет о нем писать. В то время я работал над вторым томом своей «Русской Лирики», и Есенин, смеясь, говорил: «Я войду, вероятно, только в ваш десятый том!».

Он много и охотно рассказывал о себе. То, что мне казалось наиболее интересным, я записывал.

Это было время «Сорокоуста», «Исповеди хулигана», работы над «Пугачевым». В эволюции славы Есенина момент довольно важный.

Если признан он был сразу, при первом появлении своем в литературной среде, если первая книга его — «Радуница» уже дала ему заметное имя, то необходимо указать, что им интересовались главным образом как новым социальным явлением, как поэтом из народа, не перепевающим Сурикова и Дрожжина, а с новыми мотивами и настроением. Казалось, из глубины народной гущи на смену поэтам из интел-

лигенции идет уверенно и смело новая рать певцов. Сначала Клюев, потом Есенин. Тогда эти два имени в сознании читателей и критиков были крепко спаяны. И Клюев немного^а заслонял Есенина. Ему отводили в группе крестьянских поэтов первое место, Есенину второе, на третье ставили обычно Орешина.

Когда Есенин оказался в компании имажинистов, многие стали его оплакивать и пророчить гибель таланта. Особенно удивлялись, как четыре имажинистских кита — Есенин, Шершеневич, Мариенгоф и Кусиков — разделялись на две пары. Есенин более дружил с Мариенгофом, Шершеневич с Кусиковым. Казалась бы более естественной другая группировка: Шершеневич с Мариенгофом. Большинство они воспринимались как поэты надуманные, как словесные клоуны. Есенин же скорее ассоциировался с Кусиковым. У того и другого находили искренний лиризм, пробивающийся сквозь словесные ухищрения, сквозь чехарду образов.

Однажды я шел по Никитской с одним критиком, писавшим в то время статью об имажинистах. Навстречу — Есенин с Мариенгофом. Остановка. «Я вас разведу», сказал критик встретившимся: «Мариенгофа обвиняю с Шершеневичем, а вам, Есенин, дам новую жену: Кусикова». — «Какой ужас! — засмеялся Есенин: — нельзя ли кого другого, только не Кусикова».

На следующий день Есенин сказал мне: «Не знаю, зачем нужно меня с кем-нибудь спаривать: я сам по себе. Достаточно того, что я принадлежу к имажинистам. Многие думают, что я совсем не имажинист, но это неправда: с самых первых шагов самостоя-

тельности я чутьем стремился к тому, что нашел более или менее осознанным в имажинизме. Но беда в том, что приятели мои слишком уверовали в имажинизм, а я никогда не забываю, что это только одна сторона дела, что это внешность. Гораздо важнее поэтическое мироощущение. Шершеневичу это до сих пор чуждо, и долго не было этого поэтического содержания у Мариенгофа. Одна только внешность имажинизма».

Мне всегда казалось, что дружбой с имажинистами он дорожил главным образом потому, что здесь он надеялся легче освободиться от уже тяготивших его петербургских влияний и найти себя. А когда нашел, стал отходить и от имажинистов.

1920 и 1921 годы важны в поэтической деятельности Есенина тем, что поэт резче, чем раньше, выразил свое поэтическое лицо, показал себя «нежным хулиганом», найдя новую, острую и никем еще не использованную тему.

Вместе с тем он отказался от присущего ему раньше обилия церковных и религиозных образов, с каждым годом терявших для его читателей свою эмоциональную значимость, освободился от той лампадности, которая шла к нему от его деда-старообрядца, которая поддерживалась годами учения в закрытой церковно-учительской школе, а потом влиянием Клюева.

Вместе с тем стихи Есенина приобрели большее общественное значение, чем раньше. В «Сорокоусте» (название еще в духе прежнего творчества) ему удалось дать образ необычайный и никому другому не удававшийся в такой степени, по силе и широте

обобщения: образ старой, уходящей деревянной Руси — красногривого жеребенка, бегущего за поездом.

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

И хотя стихотворение проникнуто жалостью к уходящему, вера в то, что иначе и быть не может, выражена так неколебимо, что это не только панихида, «сорокоуст» по уходящей Руси, но и «сретенье» новой, наступающей.

Ни одно из произведений Есенина не вызвало такого шума, как «Сорокоуст». Истинная слава вообще неотделима от шума и скандала. Одни рукоплещут, другие свистят и шикают. Единодушное признание свидетельствует о том, что в данном произведении нет настоящего творческого дерзания, или это признание приходит позднее, когда страсти поулягутся.

Аудитория Политехнического Музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота. Один за другим читают свои стихи представители различных поэтических групп и направлений. Многие из поэтов рисуются, кривляются, некоторые как откровения гения вещают свои убогие стишки и вызывают смех и иронические возгласы слушателей. Публика явно утомилась и ищет повода пошуметь... Пахнет скандалом. Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов.

Очередь за имажинистами. Выступает Есенин. Начинает свой «Сорокоуст». Уже четвертый или пятый

стих вызывает кое-где свист и отдельные возгласы негодования. В стихах этих речь идет о блохах у мерина. Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шиканье, крики «довольно» и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин ретируется.

Часть публики хлопает, требует, чтобы поэт продолжал. Между публикой явный раскол. С невероятным трудом при помощи звучного и зычного голоса Шершеневича председателю удается, наконец, водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит:

«Вы слышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последних два или три года».

Есенин начинает, по обыкновению размахивая руками, декламировать сначала. Но как только он опять доходит до мужицких слов, не принятых в салонах, поднимается рев еще больше, чем раньше, топот ног. «Это безобразие». «Сами вы хулиганы — что вы понимаете» и т. д. Только Шершеневичу удается перекричать ревушую аудиторию: «А все-таки он прочтет до конца», кричит Шершеневич. Есенина берут несколько человек и ставят его на стол. И вот он третий раз читает свои стихи, читает долго, по обыкновению размахивая руками, но даже в передних рядах ничего не слышно: такой стоит невообразимый шум.

А через неделю-две не было, кажется, в Москве молодого поэта или просто любителя поэзии, следящего за новинками, который бы ни декламировал «красногривого жеребенка». А потом и в печати стали цитировать эти строки, прицепив к Есенину ярлык: «поэт уходящей деревни».

Слава Есенина сделала крупный скачок. Уже многие стали мыслимо соглашаться с гордым заявлением его, что сейчас в России он «самый лучший поэт». На таком уровне славы держался Есенин и несколько последующих лет. Даже, может быть, эта слава начала слегка колебаться: его «Пугачев» не имел успеха. Следующий скачок дала «Москва кабацкая», а настоящая прочная, непроходящая слава связана с выходом в свет стихов в издании «Круга» в 1924 году; особенное значение имел в книге отдел, озаглавленный «После скандалов». Поэт перерастает себя и как крестьянского поэта и как поэта-хулигана. Он забирается на такие вершины поэзии («Памяти Ширяевца» и т. д.), что оттуда уже недалеко и до обеспечения себе места в тесном и немногочисленном кругу классиков русской литературы.

Л. Троцкий в своей последней заметке о Есенине («Правда», 19 января 1926) совершенно справедливо говорит, что беда была в том, что Есенин всегда признавал себя немного не от мира сего. Беда, конечно, прежде всего для нас, потому что, если бы он был крепче связан с нашей жизнью, с современной дей-

ствительностью, мы, может быть, не лишились бы так скоро такого превосходного поэта.

С другой стороны, необходимо отметить, что Есенин вовсе не был равнодушен к своей славе и беззаботен насчет того, что о нем говорят. Из заграничной поездки он вывез целые ворохи газетных вырезок о себе, появлявшихся в иностранной прессе, даже из японских газет. И, конечно, слава была ему дороже жизни. Об этом свидетельствует хотя бы его известное обращение к Пушкину перед памятником великого поэта на Тверском бульваре.

Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Такая жажда славы—явление очень обычное у наших действительно наиболее прославленных писателей. Молодой Пушкин говорил, что охотно предпочтет «бессмертию души своей бессмертие своих творений», а Лев Толстой впоследствии признавался, что, когда он начинал свою литературную деятельность—эпоха работы над «Детством» и «Отрочеством»—славолюбие доводило его до состояния, близкого к умопомешательству.

Есенину всегда была присуща высокая самооценка. В своей автобиографии он рассказывает, что, когда в 1905 году появился среди петербургских литераторов, он сразу был признан как талант. К этому он добавляет: «Я знал это лучше всех».

И постепенно он все более рос в своих собственных глазах. Вначале он отводит себе почетное место в ряду крестьянских поэтов. Опуская Никитина, Сури-

кова и всех других, он устанавливает такую последовательность: Кольцов, Клюев и он, Есенин. Но потом ему уже мало быть в числе первых имен из поэтов этой линии, и еще при жизни Блока, которого он очень любил, он называет себя «первым поэтом в России».

Пишущему эти строки Есенин в 1921 году объяснял одно свое преимущество перед Блоком: это «ощущение родины»: «Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения родины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая».

Преимущество свое перед Клюевым, которого Есенин считал тоже большим поэтом, он определял так: «Клюев не нашел чего-то самого нужного, и поэтическое его становится бесплодным». Другой раз он высказал свою мысль так: «У Клюева в стихах есть только отображение жизни, а нужно давать самую жизнь».

Что же касается до своих друзей имажинистов, с которыми он тесно был связан в течение нескольких лет, то и в самый разгар дружбы с ними Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало. «Я же,—добавлял Есенин,—в основу кладу содержание, поэтическое мироощущение». Наконец, и на самого крупного из футуристов Маяковского, Есенин смотрел сверху вниз: «Маяковского,—говорил он мне,—считаю я очень ярким поэтом, но лишенным духа новаторства: он весь идет от Уитмена. А главное: у него нет поэтического мироощущения».

Перебрав всех современников и не найдя себе равного поэта, Есенин, естественно, должен был обратиться к прошлому русской поэзии, и никто другой

не кажется ему жизненным примером, достойным уподобления, как сам Пушкин. Отсюда параллель: «О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган». Вернее, конечно, здесь уподобление Пушкина себе, чем наоборот. Чтобы когда-нибудь как Пушкин «бронзой прогреметь», поэт готов или умереть сейчас или еще «долго петь», будучи, как Пушкин, «обреченным на гоненье».

Но могло быть и еще одно соображение: называя одного из современных поэтов, Есенин сказал однажды (это было еще в 1921 г.), пишущему эти строки: «Обратите внимание, что ему уже за сорок. Следовательно, поэтический возраст для него прошел. И вот последняя книга его стихов уже говорит об упадке. Вообще, лирический поэт не должен жить долго. Или в известном возрасте он должен перестать писать. Исключения, как Фет, редки».

Мы далеки от того, чтобы самоубийство Есенина объяснить только этими соображениями, но в общей совокупности причин и мысль о трагическом завершении своей биографии, как о последнем художественном штрихе, как уход, напр., Толстого из Ясной Поляны, должна была, думается мне, иметь свое место.

II.

Однажды Есенин сказал мне: «Сейчас я заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться «Пугачев».

— А знаете ли вы замысел повести Короленко из эпохи Пугачевского бунта?

— Нет.

Я передал, что слышал когда-то от самого Короленко. Главный интерес повесть должна была возбудить трагическою участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было 17 или 16 лет, когда Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены, взял насильно: она его не любила, а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее, как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме.

— Ну это совсем другое!

— А как вы относитесь к пушкинской «Капитанской дочке» и к его «Истории»?

— У Пушкина сочинена любовная интрига и не всегда хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь.

И потом, немного помолчав, прибавил: «В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина — не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии».

Я ответил, что тоже таких не припоминаю.

— Я несколько лет, — продолжал Есенин, — изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя дворянская точка зрения. И в повести и в истории. Напр., у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам

Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева).

Он немного помолчал.

— А знаете ли, это второе мое драматическое произведение. Первое «Крестьянский пир» должно было появиться в сборнике «Скифы»; начали уже набирать, но я раздумался, потребовал его в гранках, как бы для просмотра, и—уничтожил. Андрей Белый до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею).

Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно. «Обратите внимание», сказал он мне, «что у меня почти совсем нет любовных мотивов». «Маковые побаски» можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании «Радуницы». Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины—основное в моем творчестве».

Это говорилось в 1921 году. Последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» оставалось, конечно, верным.

— С детства,—говорил Есенин,—болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но бы-

лю, конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, напр., знаете вы мою «Радунцу»?

— Да.

— Какое у вас издание?

— У меня есть и первое и второе.

— Ну тогда вы могли это заметить и сами. В первом издании у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. «Что это такое значит,—спрашивали меня:

Я странник улогий
В кубетке сырой»?

Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов: целый словарь понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный рязанский колорит я из второго издания своей «Радунцы» выбросил.

— Но и вообще второе издание, кажется, сильно переработано,—заметил я,—состав стихотворений другой.

— Да я много стихотворений выбросил, а некоторые вставил, кое-что переделал, например, изменил стихи о «страннике улогом» и о «кубетке»—стало просто:

Я странник убогий,
С вечерней звездой
Пою я... и т. д.

Выбросил я многие из «Маковых побасок». Эти «Маковые побаски» написаны были мною, когда мне было около четырнадцати лет. Первым моим стихотворением, появившимся в печати, было «Сыплет че-

ремуха снегом». В конце 1914 года оно помещено было Виктором Сергеевичем Миролюбовым в его «Журнале для всех». Я включил его потом в первое издание «Радуницы», а из второго, хотя и по другим соображениям, тоже выбросил.

Вечером в этот день, когда у меня был данный разговор с Есениным, я пересмотрел дома обе «Радуницы»: В первой было тридцать три стихотворения. Из них во второй сохранились только девятнадцать, при чем некоторые из них были переработаны. Новых во втором издании появилось девять стихотворений. Обратил я внимание и на первое, появившееся в печати произведение поэта. Вот оно:

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой, вы, луга и дубравы,
Я одурманен весной!
Радуют тайные вести,
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птицы в лесу!
По полю зыбистом бегом
Пеной я цвет разнесу.

Обратил я внимание и на то, что и во втором издании остались все-же некоторые мало понятные слова, например, «ливенка», «на кукане» и т. д.

Разговор зашел о влияниях и о любимых авторах.

— Знаете ли, какое произведение, — сказал Есенин, — произвело на меня необычайное впечатление?! — «Слово о полку Игореве». Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Вот откуда, может быть, начало моего имажинизма. Из поэтов я рано узнал Пушкина и Фета. Со стихами Бальмонта познакомился гораздо позже, и Бальмонт не произвел на меня особенного впечатления. Я решил, что Фет гораздо лучше и продолжаю неизменно думать так и до сего дня.

Очень полюбил я также Блока, пока не осознал, что его отношение к России меня не может удовлетворить. Блок был первый поэт, которого я увидел живьем. Попад в Петербург, я прежде всего постарался его разыскать. Мне хотелось слышать его мнение о моих стихах. С течением времени все больше и больше моим любимым писателем становится Гоголь. Изумительный, несравненный писатель. Думаю, что до сих пор у нас его еще недостаточно оценили. Кроме Блока, в Петербурге оказали на меня влияние Николай Клюев и Сергей Городецкий, принявшие во мне большое участие. Живя в Петербурге в 1915—1917 гг., я многое себе уяснил. В общем развитии более всего за эти годы обязан был Иванову-Разумнику. Громадное личное влияние имел на меня также Андрей Белый. Все мы, кроме Городецкого, объединились вокруг сборников левых эсеров «Скифы». Иванов-Разумник поддерживал во мне революционное настроение в годы войны. В 1916 г. я был призван на военную службу.

Одно время сблизился я с Сергеем Клычковым, поэтом очень близким мне по духу. Тогда я писал «Ключи Марии» и собирался вместе с ним объявить себя приверженцем нового течения «Аггелизм», не «ангелизм», а через два «г»; потом и идея и название признаны были нами неудачными, и это распалось.

В следующем году я познакомился в Харькове с Мериенгофом и примкнул к имажинистам. Мы издали манифест новой школы.

Оглядываясь на весь пройденный путь, я все-таки должен сказать, что никто не имел для меня такого значения, как мой дед. Ему я больше всего обязан. Отец мой был бедный крестьянин. Поэтому меня взял на воспитание мой зажиточный дед. Это был удивительный человек. Яркая личность, широкая натура, «умственный мужик». Умер не так давно в 1918 г. восьмидесяти двух лет крепким стариком. Все зубы были целы. О нем говорю я в своем стихотворении «Пантократор». Дед имел прекрасную память и знал наизусть великое множество народных песен, но главным образом духовных стихов. Я сочинять стал рано, лет девяти, но долгое время сочинял только духовные стихи. Некоторые школьные товарищи начали меня убеждать попробовать себя в стихах другого рода. Я попробовал и—мне было тогда около 14 лет—написал «Маковые побаски». Около того же времени «Миколу». То и другое вошло потом в «Радуницу».

III.

26 февраля 1921 года я записал только что рассказанную мне перед этим Есениным его автобиографию. Как эта автобиография, так и другие его рассказы о себе, относящиеся большею частью к концу 1920 г., не вполне совпадают с теми сведениями, которые он сообщает в двух автобиографиях, написанных им лично позднее и предназначавшихся тогда же для напечатания. Первая из них написана им была 14 мая 1922 года в Берлине и помещена в «Новой Русской Книге», Берлин. 1922 г., № 5. Вторая автобиография написана была Есениным уже по возвращении его из заграничной поездки в Москве в 1923 г. Предназначалась она для предполагавшейся книги его стихов. Издание не состоялось, и в печати автобиография эта появилась только теперь в «Красной Ниве», 1926 г., № 2 (10 января). Кое-что в этих двух автобиографиях я нашел, что ранее мне не было известно. Он ничего не говорил мне о своих дядях, о том, что бабка рассказывала ему сказки, а он их переиначивал, о проделке с просфорами, как он обманывал старших, сам за священника делая пожичком надрезы на просфорах, а две копейки, предназначавшиеся за это священнику, каждый раз брал себе. Наконец о полковнике Ломане, который ему покровительствовал на военной службе. Все остальное в этих двух автобиографиях, кроме четырех строчек о событиях после 1921 г., помещенных в краснонивской автобиографии, было мне известно раньше. С другой стороны, кое-что рассказано им было мне

иначе, чем мы это находим в его печатных автобиографиях.

Например: там он говорит, что сознательное творчество относит к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунце». Мне же он говорил, что «Маковые побаски» написаны им в возрасте 14 лет и около того же времени «Микола». Различие в этих показаниях может быть объяснено тем, что в одном случае он имел в виду «Радунцу» в законченном виде, т.-е. начинал со второго издания, а от стихотворений, вошедших только в первое, но потом исключенных, он отрекался как от самостоятельных. Вероятно, некоторые из исключенных «Маковых побасок» написаны были четырнадцатилетним мальчиком. Зато в моей записи есть некоторые немаловажные данные, которые совсем отсутствуют в его собственных. Это прежде всего указание на связь со средой старообрядцев, во-вторых, признание, подтверждающее недавнюю характеристику, сделанную Воронским («Красная Нива»), что две души жили одновременно в его груди и они вечно между собой враждовали. В печатных источниках я нахожу указание, что он учился в «закрытой учительской школе», в другом месте, что это была «закрытая церковно-учительская школа», но из рассказов его у меня осталось впечатление (может быть, ошибочное), что это была школа старообрядческая. Обращает на себя также внимание, что в моей записи деду оказалось уделено больше значения, чем бабке.

Вот что было мною записано.

«Я—рязанец, и исследователи моей поэзии легко могут это заметить и по моим стихам. Первые мои книги стихов должны были больше говорить моим землякам, чем остальным читателям. Я крестьянин Рязанской губернии, Рязанского же уезда. Родился я в 1895 году по старому стилю 21 сентября, по новому, значит, 4 октября. В нашем краю много сектантов и старообрядцев. Дед мой, замечательный человек, был старообрядским начетчиком.

Книга не была у нас совершенно исключительным и редким явлением, как во многих других избах. Насколько я себя помню, помню и толстые книги, в кожаных переплетах. Но ни книжника, ни библиофила это из меня не сделало. Вот и сейчас я служу в книжном магазине, а состав книг у нас знаю хуже, чем другие. И нет у меня страсти к книжному собирательству. У меня даже нет всех мною написанных книг.

Устное слово всегда играло в моей жизни гораздо большую роль. Так было и в детстве, так и потом, когда я встречался с разными писателями. Например, Андрей Белый оказывал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мной. То же и Иванов-Разумник.

А в детстве я рос, дыша атмосферой народной поэзии.

Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Очень рано узнал я стих о Миколу. Потом я и сам захотел по-своему изобразить «Миколу». Еще больше значения имел дед, который сам

знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них.

Из-за меня у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела, чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить. Он говорил: плох он будет, если не сумеет давать сдачи. Так его совсем затрут. И то, что я был забиякой, его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед. Небесное—небесному, а земное—земному. Не даром он был зажиточным мужиком.

Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать.

И потом и в творчестве моем были такие же полосы: сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением».

Меня спрашивают, зачем я в стихах своих употребляю иногда неприличные в обществе слова—так скучно иногда бывает, так скучно, что вдруг и захочется что-нибудь такое выкинуть. А, впрочем, что такое «неприличные слова»? Их употребляет вся Россия, почему не дать им права гражданства и в литературе.

Учился я в закрытой церковной школе в одном заштатном городе, Рязанской же губернии. Оттуда я должен был поступить в Московский Учительский Институт. Хорошо, что этого не случилось: плохим бы я был учителем. Некоторое время я жил в Москве, посещал Университет Шанявского. Потом я пе-

поехал в Петербург. Там меня более всего своею неожиданностью поразило существование на свете другого поэта из народа, уже обратившего на себя внимание—Николая Клюева.

С Клюевым мы очень сдружились. Он хороший поэт, но жаль, что второй том его «Песнослава» хуже первого. Резкое различие со многими петербургскими поэтами в ту эпоху сказалось в том, что они поддались воинствующему патриотизму, а я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически совершенно чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «гром победы, раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан. Я уже раньше рассказывал вам о разных литературных знакомствах и влияниях. Да, влияния были. И я теперь во всех моих произведениях отлично сознаю, что в них мое и что не мое. Ценно, конечно, только первое. Вот почему я считаю неправильным, если кто-нибудь станет делить мое творчество по периодам. Нельзя же при делении брать признаком что-либо наносное. Периодов не было, если брать по существу мое основное. Тут все последовательно. Я всегда оставался самим собой.

Еще о нашей братии, поэтах. Недавно в «Союзе поэтов» были перевыборы. Забаллотирован Валерий Брюсов. В правление избраны Андрей Белый, я и другие. Андрей Белый отказался, потому что уезжает в Петербург, я отговорился тем, что мне некогда.

Это, конечно, вздор. Время бы нашлось. В действительности же я отказался потому, что я совершенно чужд этому союзу, как и всякому.

Вообще, чем больше я живу, тем более убеждаюсь, что наша братия, поэты—преотвратительный народ.

Вы спрашиваете, целен ли был, прям и ровен мой житейский путь? Нет, такие были ломки, передраги и вывихи, что я удивляюсь, как это я до сих пор остался жив и цел.

Об этом расскажу вам подробно когда-нибудь другой раз».

Этого другого раза так и не было. Вслед за тем начался новый период и вывих. Из печатной автобиографии известно, что лучшим годом своей жизни он считал 1919. Этот период изживался в те месяцы, когда я вел с поэтом беседы. Поэту потребовалась новая встряска. После этого я стал встречать его реже. Однажды встретил в книжном магазине «Колос». Он был с Дункан и покупал полное собрание сочинений своего любимого Гоголя. Внешность его была неузнаваема. Одет он был франтом. Еще реже видал я Есенина после его возвращения из Америки. Раньше я лично всегда встречал его трезвым. О пьянстве его знал только по слухам. Теперь я только видел его трезвым один раз в 1924 г., когда он читал свои стихи перед памятником Пушкина, в день 125-летнего юбилея великого поэта.

Есенин стоял на ступеньках пьедестала, льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Размахивая руками и выкрикивая строчки, он читал:

А я стою как пред причастьем
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.
Но обреченный на гоненье
Еще я долго буду петь,
Чтоб и мое глухое пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Долго петь не пришлось. Внук поставлен был в иные условия, чем его дед, доживший крепким и здоровым до 82 лет. Там был уклад, выработанный веками. И о загробном мире люди думали с тем же уютом и заботливостью, как вели здесь в этой жизни свое хозяйство.

Революция все подняла и разворошила. Новый мир начал строиться на развалинах прошлого. Есенин оказался между двух миров: сознанием он весь был на стороне революции, но сердечные привязанности, дедовская кровь тянули его назад. Всякий человек — продукт своей среды. Есенин ее жертва. В последних стихах, написанных кровью, он говорит о свидании после смерти, мотив, относящий нас не только к первым книжкам Есенина, но и гораздо дальше: к Жуковскому.

Старая Русь в этом случае победила.

Пусть эта победа будет единичной. Новая Русь и молодые поколения возьмут у Есенина то, что им будет нужно: его любовь к жизни, к природе, ко всякому живому существу; будут учиться человечности, упиваться красотой его образов, звуками его поэзии и постоянно вспоминать о нем,

Как о цветке неповторимом.

Am 5586

Цена 25 коп.



АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Москва, улица Огарева, д. 3, кв. 7. Тел. 2-14-16.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

Москва, книжный магазин Акционерного Общества
„Международная Книга“, Кузнецкий мост, 12.

